

Салыр-Гюль -5/ окончание

Category: Kitapcy, Ýol ýazgylary
написано kitapcy | 24 января, 2025
Салыр-Гюль -5/ окончание V.

КОРОНОВАННЫЙ ЗУБ

Это было в одно из утр, до того как прохлада прогнана зноем. Я проходил мимо кротовых холмиков одного из кладбищ. Шаг вёл меня мимо, но его остановил звук. Это был надорванный старушечий голос, запутавшийся в выкликах, как в стеблях травы. Вслед ему короткая юная вибрирующая нота – молчание. Я остановился, затем включил память: здесь есть обычай – женщинам не позволено провожать прах до могилы, но им вменено в обязанность оплакивать зарытое тело каждодневным плачем. Могильные холмики вели меня по выгибу холма – и вскоре я увидел над одной из свежих кротовин двух женщин, которые, присев на корточки, раскачивались в такт плачу. Одна из них была старухой; чучван, сбившийся на плечо, показывал её дрожащие вокруг беззубого рта морщины. Другая, с косами, откинутыми на спину, подставляла под солнце своё смугло-розовое лицо и снежный блеск приоткрытых зубов. Старуха учила юную кызчу искусству плакать: она вела свой голос по витым лесенкам трагических фиоритур, падала в всхлипы, как в всплески омутов, вела голос приливами скорбей и отливами жизней. Бронзоволицая кызча с испуганным удивлением смотрела на шевелящийся рот старухи. Изредка она пробовала подхватить напев, но её голос был слишком молод, в нём звучала полнота упругого грудного дыхания, а не резонанс могильной ямы. И кызча сконфуженно обрывала втору. Мы встретились глазами. В её суженных солнцем зрачках я увидел то, что радостнее всех радостей: жизнь.

В органической химии принято разделять все соединения углеродного атома на два ряда: ароматический и жирный. Анализируя старый перезрелый Восток, я раскладываю его в своей голове тоже по двум рядам. «Есть Восток ароматический и Восток

ожирелый. Каждое явление в свете здешнего солнца и моей привозной мысли включается в один из этих рядов.

Ароматический ряд: глаза кызчи, не повинующиеся плачу – сказки Шахразады – музыка тюйдюкчи и приступ дойрэ – запев базарного маддаха – сплетающиеся лучами звезды настенного орнамента – игла, изострённо грезящая по стлани сюзанэ.

Жирный ряд: старушечий чучван – щиколотка, лениво подогнутая под щиколотку, – сонное многочасовое чайханничанье – толстозадый бача – кошель бая, перекрученный над животом, – халат и его эманация: халатность – сумах и тувак.

Последние два звена нуждаются в объяснении: ещё до сих пор не искоренён обычай держать грудных детей в особых коробах – сумахах, к дну которых они крепко привязываются специальными перетяжками; тут же на дне находятся отверстия – тувачи, которые избавляют матерей от необходимости следить за отправлениями новорождённых. Говорят, что затылки младенцев, на много месяцев притиснутые к дну сумаха, приобретают от этого плоскую форму. Это только пример: у многих и многих явлений, если взглянуть за них, плосковатые затылки. Необходимо растувачить жизнь.

Ароматическое, обаяющее своей наивностью, и жирное, застоялое встречаются здесь бок о бок неисчислимыми встречами. Вспомнить хотя бы два забавных случая с автобусами, которым я был внимательным свидетелем. Первый случай произошёл на ходу, при повороте из улицы в улицу (кажется со Складской на Ленинскую). У узбека, придерживавшего ногами мешок с дынями, не хватило денег на билет; кондукторша дала было знак шофёру – остановиться, но владелец мешка, развязав его, вынул большую пахучую дыню и передал соседу; шофёр, начавший было тормозить, снова набавил ходу, мы снова закружили от перекрёстка к перекрёстку, а дыня – своим чередом – совершала круг по ладоням, в поисках покупателя. После долгих постукиваний по её коже и проб на затиск она, наконец, нашла его – инцидент был исчерпан.

Другой случай имел место у стоянки автомобилей, курсирующих меж Новой и Старой Бухарой. Пред полуденный зной. Одна машина, набрав комплект, укатила из-под самого носа. Делать нечего.

Становлюсь в терпеливую очередь, состоящую почти сплошь из людей, вдетых в халаты. Наконец, отдалённый гул, потом пыль, потом машина. Рассаживаемся. Кондуктор раздаёт билеты, затем отходит в тень дерева и, сняв сумку, подкладывает её под голову, очевидно, готовясь вздремнуть. Халаты молча ждут. Но я протестую: почему не едем?

Шофёр, обернувшись, отвечает сквозь зевок: нет комплекта. Действительно, из шестнадцати мест два пусты. Ждём. Стрелка часов идёт по минутным делениям, а мы стоим, как заклые. Снизу разогретая кожа сиденья, сверху застывший зной. Я снова делаю попытку бунта: ведь пассажиров даёт поезд, до нового поезда ещё четыре часа, неужели нам стоять все четыре; наконец, чёрт возьми, в погоне за какими-то копейками теряется уйма времени, которое тоже стоит денег.

Кондуктор глубже задвигается в тень, шофёр молчит. Замолкаю и я. Ждём.

Вдалеке показался человек: а вдруг пассажир? Соожидатели, приложив ладони к глазам, стараются угадать. Спорят. Человек идёт чрезвычайно медленно, то и дело останавливаясь; недалеко от стоянки он ныряет под притолку лавки, но через минуту снова появляется, на этот раз прямо шагая к автобусной подножке. Слава Богу! Ещё бы одного, и двинемся. Вдруг из-за угла сразу двое. Очевидно, это супруги. Они торопливо направляются к нам. Наконец-то.

Кондуктор приподнимается и раскрывает билетную сумку. «Икины? Два билета?

Два нельзя: одно место». Супруги начинают спорить — кому ехать, кому остаться; потом решают вместе дожидаться следующей машины. Я в бешенстве вскакиваю и требую, чтобы с меня взяли за пустое место. Ни шофёр, ни кондуктор не отвечают. Шофёр пригнулся к рычагу: самый мотор начинает глухо протестовать. Трогаем.

Разумеется, жирный ряд надо перечеркнуть. Дряблые сгустки лени, насиженные столетиями, теперь, когда статика исторически преодолена, исчезнут сами собой. Но как быть с феноменами ароматического ряда, как найти приложение Шахразадову началу?

В химии схема молекулы ароматического соединения изображается

обычно в виде замкнутой цепи атомов, как бы вросших друг в друга своими валентностями. Например так.

Сцепление радикалов и черточек, означающих сродство, до странности напоминает глазу те старинные запястья, нитевидные браслеты, билек-узуки, которые продаются базарными ювелирами Бухары. «То обстоятельство, — пишет химик Лонгинов, — что молекула ароматического соединения замкнута сама на себя, что в ней значительная доля энергии... уже использована на это замыкание, определяет пониженную способность ароматического ряда к реакциям и превращениям...» (курсив мой. — С.К.). Да, аромат Востока «замкнут на себя». И его надо разомкнуть, расцепить запястье, вросшее в пясть, как кандалы. Так, по моему, решается схема о старом, дышащем ароматом легенд Узбекистане.

Их было двое. Русский и узбек. Русский был юн. Узбек стар. Они сидели на одной из ступенчатых десятиграний каменной оправы Кош-хауза. У юноши горизонтальная морщина удивления от виска к виску; на коленях газета. У старика короткая вертикальная складка меж бровей; в длинных пальцах левой руки гроздь винограда.

Оторвав виноградину, старик сказал:

— Ум — связка ключей: от смыслов. И вся суть в том, чтобы их не перепутать: смыслы и ключи.

Юноша смешливо поднял белые, выгоревшие на самаркандском солнце брови:

— То-то ваши узбекские глаза похожи на замочные скважины.

— Молодые твои слова, а молодость — стара-стара. Ой, как стара. Так стара, что не слышит.

Морщина удивления на лбу юноши стала чётче. Собеседник его оторвал виноградину:

— Всякий доживает до своей молодости, но до старости — не всякий.

Значит, у молодости больше жизни, чем у старости, она старше старости. И люди научились быть молодыми, но вот как быть стариком, этого ещё никто хорошо не знает. И после скажу тебе такое: один человек не заметил, как прошла мимо молодость; только спину её и увидал; тогда он стал кричать: «Эй,

молодость, вернись, эй-эй, – а та даже не оглянулась: скажешь, не глухая, а?

Сидевший рядом прошелестел газетой. Словоохотливый старик, сдёрнув с веточки ещё одну зелёную бусину, продолжал:

– «Кзыл-Шарк»? Красный Восток. А кто его будет строить? Юный и старый, а человек, который уже не юный и ещё... как это у вас называется?

– Человек средних лет?

– Хо, тогру: средних лет. Вот такой (неожиданно я, слушавший разговор, стоя в стороне у стены дворика, увидел палец, протянутый в мою сторону). Обе зари, утренняя и вечерняя, красные, а посередине нет; и дупло у дерева – посередине. Юный бросает зёрна в будущее, потому что дожётся жатвы, старый мстит прошлому за то, что оно платит ему за все труды смертью, гробом, деревянным кошельком, в котором ни тиина: в этом и есть мудрость. Ну, а вот такой (я снова почувствовал на себе жест длиннопалой руки) – он не с нами: уже не юн и ещё не мудр. Не с нами. А что пишут в газете?

– У нас: пахта и пахта. «Все силы бросить на фронт хлопкосбора».

– Справедливые слова. А у них?

– У них? И не разберёшь. В Германии вот гинденбурговщина расшумелась: рано, мол, раскороновались, гогенцоллерновской короне музейный билетик приклеили...

Рот старика раскрылся злорадной усмешкой; из усмешки блеснул золотой зуб:

– Отчего нет? Всё можно короновать: даже зуб, когда он подгнил. Знаешь, оглу, у нас на крутой тропе заревшанских гор есть старая надпись, я бы отдал её им, отклеивателям билетика: «Путник, ты в шаге от своей могильной земли – будь осторожен: как слеза на реснице».

И в досыл словам говоривший бросил пустую, всю в арабесочных изгибах, сухую веточку винограда.

Я отошёл от разговора. В этот день – перед вечером – мне довелось заглянуть в один из старых мазаров: над каменными рёбрами гробницы, как обычно, огромные древка исламистских знамён, сделанные из цельных древесных стволов, лишённых лишь

коры. У вершины одного из древок, наряду с полуистлевшими желтыми и зелёными лоскутьями, я увидел ярко алеющий советский флаг.

ДЕНЬ И ДЕНЬ

Я быстро усвоил обыкновение: солнце к зениту — человек к постели.

Голова моя была уже подоткнута подушкой и сознание пересекало нейтральную зону меж явью и сном. Правда, за зажмуренными створами двери слышалось какое-то шарканье и приглушенные голоса. Это не мешало. Я готовился уже оторваться от дня — и вдруг сильный, на высокой баритональной ноте — острым звуковым лучом — голос. Я вскочил и распахнул двери.

Внутри медресного двора, почти у самой его середины, стоял высокий человек в белой чалме с руками, поднятыми к лицу. Впереди него правильными шеренгами коленопреклонённые люди. Перед ними раскрытые двери (обычно они были под ключом) противоположащей моей стене внутри — монастырской мечети.

Ряды склонённых непрерывно росли поспешно подходящими, а то и подбегающими людьми. Всё это были сплошь мужчины. Каждый из включающихся в богослужение расстилал перед собой квадратный коврик, намазлык, а то просто кусок материи или ситца; иные, победнее, стлали под колени свои набёдренные платки, а то и просто какие-то грязные лоскутья.

После нескольких призывных возгласов к Аллаху, мулла вошёл внутрь мечети, и служба продолжалась. Я видел только одновременно — по гортанному выклику из-за дверей мечети — падавшие к земле и тотчас же распрямлявшиеся спины. Это было похоже на какое-то строевое учение пред лицом Аллаха, принимающего смотр. Отряд молящихся был невелик, но фанатически истов.

Всё окончилось так же внезапно, как и началось. Намазлыки свёрнуты, бороды опущены на грудь, и крутые носки туфель движутся назад к выходу. У выводной арки скопилась уже группа нищих. Среди них глухонемой с дутаром в руке. Дёргая струны, он издаёт какие-то бессловные, лающие звуки и идиотически

скалит зубы. Правоверные проходят чередой мимо нищенских чаш и протянутых ладоней, раздавая медяки. Я внимательно разглядываю проходящих; почти все они стары или близки к старости; спины их согнуты, шеи в складках.

Последний отряд Аллаха в порядке отступает, защищаясь медными тиинами. И над всем этим смерть.

На другой же день в тот же час я подходил к Тилля-кари. Но дороге мне перерезала толпа, бегущая к входу в Шир-дор. Вейные халатов, топот ног и возбуждённые вскрики. Бежали отовсюду: снизу – из переулка, сверху – с базара, но все устремлялись к забитой стеснившимися входной арке Шир-дора.

Отждав, когда приток людей несколько утишился, я протискался во двор медресе.

В глубине его, за верёвочным барьером, на стульях, в несколько шеренг сидели люди в халатах; все они были повёрнуты спинами к входу и окружены красноармейским конвоем. Толпа, шумно вливавшаяся во двор, попав в него, затихала и бездвигалась, как вода в хаузе. Достаточно было короткого взгляда и одного вопроса, чтобы понять: люди, отделённые винтовкой, отряд басмачей, целиком попавший с большой дороги на скамью подсудимых. Я на время покинул судилище.

Через час-два, отдохнув в своей хуждре, вернулся назад. Заседание уже началось. Председатель, крепколицый и широкоплечий человек, упершись локтями в сукно стола, допрашивал главного, курбаши. Тот стоял, повернувшись ко мне в профиль. Это было очень странное лицо: молодое и в то же время старчески серое с опущенными углами губ и почти трупнозаострённым клювовидным носом.

Он отвечал тихо, слова проглатывало арками стен. Я осмотрел шеренги тех, кто с ним. Его помощник – седоусый обрюзглый человек со слезящимися глазами: рядом чья-то выставившаяся из-под тюбетейки плешь; дальше борода с седой прорединой. Всё это были люди, если не старые, то с подстарью, люди «средних лет». И над всем этим была смерть.

Я вышел наружу, на площадь. У нижней ступени Шир-дора сидел глухонемой с дутаром. Под монотонный звон струн он пробовал вылаять какие-то не удающиеся ему слова.

ЫЗБАШ

Я увидел её перед самым утром, во сне. Перед тем я встречался с ней в реальном пространстве только раз. За Бузулуком. Вместе с десятком других низкорослых деревьев она выбежала из оврага – навстречу рельсовому пути – и, опередив их, вдруг остановилась, запрокинув назад свой тонкий белый ствол. Вероятно, её испугала мёртвая стлань степей, шедших на неё тысячевёрстиями оттуда, с Востока. Это была последняя берёза на пути сюда. Я понял: пора вспомнить слова: «городская станция – билет – плацкарта – скорый».

Я уложил свой рюкзак. Кстати, надо уложить и мысли. Иной силлогизм также легко выронить из памяти, как зубную щётку из дорожного мешка.

Вспомнилась вся – в сущности страшно скудная количественно – пригоршня дней, моих узбекистанских дней.

Это было на мир-арабском базарном аукционе. Крикливый аукционист, забравшись под самую аркатуру мечети, господствующей над шумливым рынком, всходил голосом ещё выше по лестнице цен – и вдруг, оборвав цифры, бросал купленную ткань в толпу – прямо в подставленные руки покупателя. Как сейчас вижу лет одного пёстрого переливчатого бухарского халата: брошенный в воздух аукционистом, он взмыл над площадью, горя парчовым блеском, перекувырнулся ярким летучим клубом и, прощально взмахнув рукавами, мягко упал в многоголовье базара. Мой путь был немногим длиннее. Остаётся догнать траекторию лета.

Снова проходят передо мной: фисташковые деревья над фисташковой водой Чирчика, за деревьями – фисташкового цвета стекло уличных фонарей, льющих фисташковый свет сквозь пробель цифр – это Ташкент; пыль, осевшая в виде города, спрессованная в серые стены и оползни Арка, слипшаяся в месивные зубья городских стен Бухары, или, наоборот, Бухара в порошке, истираемая ветрами в пыль, летающую над пылью, осевшую в виде строений; Самарканд... но это я могу ещё увидеть глазами, не памятью.

Поспешно взбираюсь по спиральной лестнице на кровлю Тилля-

Кари: вот он, разбросанный по всхолмьям пепельно-коричневый, вечеряющий город. Если бы здесь, рядом со мной, стоял хромым лесажев бес, озорной Асмодей, ему вряд ли удалось бы сорвать все кровли с домов, как он это сделал с кровлями засыпающего Мадрида. Здесь они все плоские – их не за что взять: даже мыслью. И если делать литературные попытки проникнуть в тайну глухих, на висячих запорах, стен самаркандских жилищ, то надо придумать совсем иную сюжетную рамку. Например, такую.

Некий заезжий человек хочет знать: что там в запретных для глаза чужестранца беззаконных домах столицы Маверраанагра? Однажды он сидит, отдыхая от зноя, запрятавшись под чёрный чучван тени, прикрывающий стену.

Ему дремлет, он прислонился ухом к глине – и вдруг слышит из её толщи голос. Это голос человека, научившегося ходить сквозь стены, но заклятого своим врагом и увязшего в одной из них навсегда. Он рассказывает ему о том, как учил своё тело, силою чудесных мазей, проскальзывать меж частиц глины, просачиваться сквозь стены жилья, как это умеет делать сырость. Достигши – путём долгих упражнений – высокой степени искусства в хождении сквозь, он стал посещать ночные гаремы, сокровищницы богачей, полные золота, наконец, тюрьмы. С помощью своей сверхскользкой мази он хотел помочь проскользнуть сквозь стены тюрьмы несправедливо осуждённому другу, но пузырёк с мазью, как раз в тот миг, когда он, прокладывая путь другу, уже вошёл в глиняную толщу, ударился о... но, чёрт возьми, что там внизу, на Регистане, за странная вереница людей? Уже не очередь ли к автобусу? Пока я тут играю в прятки с реальностью, мой поезд свистнет и уедет. Осталось два часа.

Сбегаю по лестнице, взваливаю на плечо мешок и бегу в конец хвоста.

Нет – так невозможно. Приходит один автобус. За ним другой. Очередь почти не укоротилась. Бросаюсь к извозчику:

– Эй, ызбаш, вокзал, сколько?

Ызбаш великолепно учёл ситуацию и заламывает пятерную цену. Бросаюсь к другому перекрёстку. Возница сидит, невозмутимо перекинув кнут через плечо: цена его ещё покруче. К третьему: уже занят. Возвращаюсь к человеку с кнутом через плечо – цена

за эти секунды успела вспрыгнуть ещё на пару пулов.

Делать нечего. С проклятием громозжусь на сиденье: вперёд, гони!

Но возница, флегматически сдёрнув кнутовище с плеча, легонько покручивает им в воздухе и везёт не по прямой, а по кругу Регистанской площади. Мимо нас мелькают знакомые огни чайханы, витрины сартараша, громады трёх медресе и снова чайхана, и снова сартараш. Ызбаш ищет второго седока.

Он не перестанет кружить, пока не добьётся своего. Повернув голову к периферии круга, он выкрикивает:

– Вокзал – десять рублей, вокзал – восемь рублей. Вокзал – садись за семь.

Люди, медитирующие за своими пиалами на скорченных ногах, люди, рассматривающие свои изображения в зеркалах сартараша, люди, присевшие на каменной ограде, при медресовой площадке – все с интересом следят, а иные принимают и посильное участие в постепенно разворачивающемся аукционе. Я молча жду, отодвинувшись в левый угол сиденья: надо сделать более заметным и заманчивым пустое место рядом, распродаваемое если не с ударов молотка, то со взмахов камчи. Оно и я – мы лишь пустое и занятое места. И я учусь у него, пустого, – терпению и равнодушию.

Прощай лёт пёстро́го клуба через мир-арабское солнце, прощай край предвосхищенных зорь, прощай, хариф мысли, хайыр!

Конец.

1933 г.

Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ. Ўol ýazgylary